

Глеб Иванович Успенский

Крестьянин и крестьянский труд



Глеб Успенский

Крестьянин и крестьянский труд

«Public Domain»

1880

Успенский Г. И.

Крестьянин и крестьянский труд / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1880

«...В цикле очерков «Крестьянин и крестьянский труд» Успенский поставил перед собой задачу определить то начало, которое управляет жизнью крестьянина-труженика, формирует его умственные интересы и нравственные идеалы. Этим началом Успенский признал земледельческий труд. Наблюдая жизнь Ивана Ермолаевича, рассказчик, а вместе с ним и автор приходят к выводу, что, несмотря на тяжелые условия пореформенной деревни, крестьянин-земледелец любит свой труд, тонко понимает его красоту и поэзию. Вся жизнь крестьянина-труженика, весь его бытовой и семейный уклад, все его взгляды на окружающий мир подчинены труду, и это придает внутреннюю цельность его существованию. Лучшим выражением поэтических идеалов народа, неразрывно связанных с трудом, Успенский считает поэзию Кольцова...»

Содержание

I. Иван Ермолаевич	5
II. Общий взгляд на крестьянскую жизнь	11
III. Поэзия земледельческого труда	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Глеб Иванович Успенский

Крестьянин и крестьянский труд

І. Иван Ермолаевич

Вот уже почти год, как я живу в деревне и нахожусь в ежедневном общении с хорошей крестьянской семьей, ведущей основательное, подлинно крестьянское, то есть исключительно земледельческое, хозяйство, и как в первый день знакомства, так и сию минуту ни я, ни эта семья не смогли проникнуться интересами друг друга. Я не понимаю, зачем существует на свете семья и из-за чего она бьется, а семья тоже совершенно понять не может и удивляется: зачем собственно я существую на белом свете? Мы находимся в самых приятельских отношениях; при встрече всегда здороваемся, раскланиваемся, спрашиваем: «как дела?», «все ли благополучно?» и даем друг другу ответ: «ничего, слава богу, помаленьку», но понимать друг друга все-таки не понимаем. Ни малейшего, мало-мальски общего интереса между нами не образовалось; все, что интересно мне, ни капельки не интересно для Ивана Ермолаевича (так зовут главу крестьянской семьи, о которой идет речь), хотя он, слушая меня, и поддакивает и старается сделать такое лицо, чтобы оно подходило под разговор; зевоту, которая иной раз является у него неожиданнейшим для меня результатом моей беседы, которую он, повидимому, слушает внимательно, – Иван Ермолаевич весьма тщательно скрывает. С своей стороны, слушая задушевнейшие беседы Ивана Ермолаевича, я иной раз даже поступаю хуже его, прямо зеваю и потом извиняюсь, что выходит уж совершенно неприлично.

Когда Иван Ермолаевич едет в город или на станцию, самая важная для меня просьба, с которой я к нему обращаюсь, – это «привезти газету, зайти на почту в взять письма», а второстепенная в том, чтобы захватить муки, мяса... И всякий раз выходит так, что муки и мяса он привезет, а газету и письма забудет.

– Забыл! – говорит он чистосердечно. – Говядину-то и хлеб я помнил, а насчет этого... повел лошадь ковать – забыл!.. Мало ли делов-то! То то, то другое, все по хозяйству – оно и забудешь!

– Как же это вы так, Иван Ермолаевич! ведь я вас как просил?..

– Что поделаешь-то!.. я помнил... Всю дорогу я, признаться, в уме держал... Да тут барышники с лошадьми встретились... одна лошаденка каренькая попалась... такая приятная скотинка... грудь, так, братец ты мой, веришь, вот не солгать, сказать ежели...

И затем начинает длиннейшую рацею о таких вещах, которые вовсе не интересны.

С своей стороны и я не всегда удовлетворяю желаниям Ивана Ермолаевича. Двадцать по крайней мере раз просил он меня, когда я ехал в город, «не забыть насчет, колесной мази», и ровно двадцать раз я об этой мази забыл.

– А мазь привез? – спрашивает Иван Ермолаевич, выходя на крыльцо ночью, часу во втором, заслышав стук колес моей телеги, и, получив ответ неблагоприятный, точно так же, как и я, пенял мне.

– Э-эх, – говорит он, кряхтя, – а ведь как молил-то! не забудь, сделай милость, в догонку кричал... Э-эх!..

Но и со мной произошло точь-в-точь то же, что и с Иваном Ермолаевичем, – я точно так же, как и он, очень долго *помнил* насчет колесной мази. Ехал и помнил, да вдруг попалась газета или приятель с разговором об интересном деле – ну, и забыл. «Из ума вон».

Еще с здешним «подстоличным» мужиком, почти отбившимся от сельского хозяйства, толкающимся по станциям двух железных дорог, еще с таким испорченным цивилизацией

мужиком у меня иной раз может выйти какой-нибудь обоюдный разговор, то есть иной раз подстоличному мужику понадобится кой о чем спросить меня.

– А что, – спросит, – как в газетах пишут, много ль на Лиговке домов погорело?

Ему нужно знать, много ль погорело сенных складов, потому что, «толкаясь» вокруг сена и сенных операций, нагрузок и перегрузок, он очень заинтересован в вопросе о цене сена и потому интересуется знать, много ли погорело сенников.

– Да пишут, – говорю я, – домов четырнадцать...

– Четырнадцать? А кое место?

Говорю я и про место.

– Это хорошо, – говорит подстоличный мужик. – Это все сенные места... А что, – прибавляет он, – нет ли чего насчет чтобы других мест?.. все ли благополучно насчет сена-то?..

– Нет, нету...

– Ничего не пишут в газетах?

– Нет...

– Гм... Нет, вот как года три назад барки, братец ты мой, с сеном взялись гореть... так уж было!.. До семидесяти пяти копеек в один день сено-то поднялось. У нас, братец ты мой, по сороку копеек брали, не то сено, а прямо сказать прель, чернь, навоз... Что, нету-тка в газетах-то... ничего, чтобы... насчет барок ежели?

– Нет, нету...

– Дюжо хорошо с сеном-то в ту пору поправились.

Такие разговоры возможны между мною и испорченным подстоличным мужиком, но не только между мною и Иваном Ермолаевичем почти никогда не выходит таких «обоудных» разговоров, но не выходит их у Ивана Ермолаевича и с подстоличным мужиком. Всех таких мужичонков Иван Ермолаевич, как истинный «крестьянин», погруженный исключительно в земледельческий труд, недолюбливает и даже, пожалуй, ненавидит. Прихотливый, нездорово-избалованный желудок, утроба Петербурга, отбил подстоличного крестьянина от земледельческого труда. То желудку этому нужна отличнейшая телятина, то вдруг потребуют ягод в громадных размерах и за землянику, малину дают такие цены, которые дороже самого дорогого сена... Наехали в Питер какие-нибудь иностранные высокие гости; расшумелся и раскутился какой-нибудь случайный магнат, которому удалось выгодно надуть казну; состоялась ли какая-нибудь операция, около которой греют руки сотни крупных и мелких акул и акулёнков, – все это сейчас же отзывается на здешних местах. Отзывается то требованием разных разностей «к столу», то наездами хорошо пообедавших господ после стола на охоту. И все это совершается всегда почти неожиданно, и всегда такое неожиданное требование сопровождается фразой: «что хочешь возьми, а чтоб было!» Такой слуга испорченного столичного желудка постоянно мечется как угорелый, то ищет ягод, когда их за ненадобностью сдули в болото частые северные ветры, то Христом-богом молит насчет медведя, нет ли где, не слыхал ли кто, потому одному барину «смерть» хочется убить медведя и даже «стерву» для этого прислал из Петербурга... У него на языке постоянно вертятся слова... «дал телеграмму... чтобы беспременно... стерву по телеграмме...», «хороший барин...», «чучела...», «господа...», «медвежьи следы» и т. д. Осенью и весной он возится с этими чучелами, строит «шалашки», «чуфыкает» по-тетеревиному и т. д. И все это, вся эта возня из-за случайного рубля глубоко противна крестьянской, аристократически-крестьянской душе Ивана Ермолаевича. Пропасть, отделяющая воззрения Ивана Ермолаевича от воззрений «подстоличного» обывателя, неизмерима и обнаруживается всякий раз, когда у Ивана Ермолаевича выдастся досужий часок, чтобы поболтать с случайным посетителем из подстоличных нелюбимых им обывателей. Всякий раз во время таких встреч между ними происходят примерно такие разговоры.

– И как это я погляжу на вас, – говорит Иван Ермолаевич: – как вы живете бессовестно! Вам бы только-только где рублевку сорвать, и всего лучше, ежели даром... Это для вас первое

удовольствие... А чтобы хозяйствовать, работать как следует, на это у вас охоты нет... На чаях да на сахарах пропьете рублевки-то, а там овес покупать еще с осени надо, и хлеб покупной едите, и кругом в долгу как в шелку... Коли ежели ты крестьянин, так ты должен справляться так, чтобы тебе бы в люди ни за чем не ходить, чтобы и хлеб, и овес, и «все-всякая», чтобы все было при доме. Это и есть крестьянство, а ежели, вот как ваш брат, начнет пахать да в полделе бросит да за рублевкой там, или за тетеревом, или там за барином за каким погонится, чтобы какую-нибудь там от него бумажку выхватить, это ничего не стоит. Тут одно только расстройство для хозяйства, а от этих рублевок да тетерок – только один вред. Положим, что ты и двадцать и четвертную сорвешь там с кого-нибудь, и то окроме как вреда ничего нет, потому хозяйство забываешь...

Против этих наставлений подстоличный мужик, испорченный цивилизацией, обыкновенно выдвигает опровержения, доказывающие значительную его испорченность.

– Послушать ежели тебя, – говорит он, свертывая из газетной бумаги папиросу: – то уж сделай милость, извини, а только что разговор твой вполне довольно глуп. Ты уж, сделай милость, будь так добр, на эти мои слова не огорчайся, но что окончательно твои слова есть больше ничего, как одна глупость... И когда это бывало, скажи ты на милость, чтобы мужику от денег был вред? Ты опомнись-ка немножко, подумай, что такое твои слова? Двадцать целковых – вред! Мужику! Да сделай милость, не хочешь ли, мы испробуем? Давай вот мне сейчас двадцать-то пять рублей, ну, если даже так возьмем, хошь пятьдесят целковых ты мне давай – и гляди, какой со мной случится припадок от этого... По твоим словам оказывается, будто бы это будет вред, особливо ежели задаром?... Так вот давай испробуем... Ты выноси деньги, а я, видишь, вот у меня мешок кожаный сделан для этого, для вреда-то, а я их в мешок спрячу... А ты гляди, что будет. Может, я от этого кашлять начну или захромаю, а может, и невредим останусь... Овса тебе? Давай деньги-то, я тебе и овса представлю и хлеба, ежели тебе требуется, покуда ты там будешь ковыляться с «Андревной-то»... Выноси деньги-то! Чего ж молчишь? Скажите, пожалуйста, какую вывел рацею!.. Четвертная вред – мужику-то!.. Ну нет, друг любезный, я так думаю, что мужика деньгами никак невозможно испортить... От денег – расстройство! Ах ты, курносый ты человек, больше ничего... Послушать тебя, так действительно что смеху подобно... Кабы нам этого вреда-то побольше да почаще, так мы бы как бы дела-то справляли... А то от овса – польза, а от денег – вред!.. Выдумал, нечего сказать, искусно!..

Если существует такая громадная разница во взглядах на хозяйство и даже на «деньги» между Иваном Ермолаевичем и подстоличным мужиком, который хотя и охотник до случайных рублевок, но все-таки отлично знает, что такое значит крестьянское хозяйство, то пусть судит сам читатель, какая бездонная пропасть должна была отделять от Ивана Ермолаевича меня, человека, совсем не имеющего понятия о крестьянском хозяйстве. В течение года Иван Ермолаевич всего только два раза обратился ко мне с разговором, в котором я видел с его стороны не простое только приличие, а и действительный интерес. Правда, был еще случай, когда Иван Ермолаевич бросился ко мне, как к прибежищу, это именно в тот раз, когда явился урядник требовать поземельные и предъявил Ивану Ермолаевичу бумагу, в которой он, будучи безграмотным, ровно ничего не понимал. Но этот случай обращения ко мне Ивана Ермолаевича я не кладу в счет; обращение его ко мне в этот раз было не добровольное, а вынужденное, и притом «бумага» (которых он вообще смертельно боялся) была «не его дело», до него не касавшееся... По «своему» же делу, то есть по делу, которое касалось собственных его интересов, он счел нужным обратиться ко мне всего только, повторяю, два раза в течение целого года. В первый раз это случилось после того, как я привез из Петербурга барометр-анероид и объяснил Ивану Ермолаевичу, что эта штука означает. Узнав, что эта медная посуда будет показывать погоду, что стрелка, которая ходит под стеклом, указывает и дождь, и сушь, и ветер, Иван Ермолаевич заинтересовался. Слушая меня, он говорил многозначительно: «А-а-а... Хорошо... Это ничего... Надыть попытать его!.. Ничего...» Штука эта, которой он немедленно

же дал название «календарь», пришлось ему по вкусу, как вещь, нужная в хозяйстве. До знакомства с этим календарем Иван Ермолаевич узнавал погоду – вещь для него весьма важную – по множеству собственных наблюдений и примет.

– Что-то, – говорил он, например, в ясный летний день: – боюсь я, как бы дождя не было?

– Да почему же, день ведь ясный, ни тучки, ни облачка?

– В ушах что-то шумит... Вот чего я опасюсь... Как ежели округ ушей в такой-то день начнет шуршать, шелестить – уж это нехорошая примета...

Практиковался им еще и другой способ, другая система.

– Какой у нас нониче месяц идет? – спросит, бывало, Иван Ермолаевич: – актяб?

– Какой октябрь – июль...

– Я их, месяцев-то, не знаю, как их прозывать-то... Много ведь их... А вот, в котором месяце крещение, этот как месяц называется?

– Январь.

– Ну, вот видишь, теперь надо смотреть так: январь должен стоять против нынешнего месяца... какой ноне месяц?

– Июль, июль, Иван Ермолаевич!

– Ну, январь стоит против июля, вот и надо помнить погоду... которое сегодня число?

– Сегодня шестое...

– А крещение в кое число?

– Тоже шестого.

– Видишь ты. Вот теперь и надо знать... Михайло! – зовет он работника. – Что, не в примету тебе, шел снег под крещение, как мы в Сябринцы¹ хлеб возили?

– Что-то не в примету...

– А кажись, что будто как курил снежок-то?

– Н-нет... не упомяну.

– Авдотья! – обращается Иван Ермолаевич к жене: – не в примету тебе, как под крещение ездили мы с Михайлой, брал я полушубок али нет?

Авдотья останавливается с ведром в руке и думает. Думает серьезно и пристально.

– Полушубок? – в глубоком припоминании чего-то переспрашивает она и, вспомнив что-то, говорит: – Н-нет... кажись.

Авдотья замолкла, и Михайло замолк, и Иван Ермолаевич молчит, все вспоминают.

– Чего ты! – вдруг оживившись, восклицает Авдотья: – чай, у Степиных полушубок-то взял... Вьюга-то к ночи поднялась... Чай, помнишь, как Агафья-то прибежала, еще телка в ту пору, – и т. д.

– Так-так-так-так... – твердит Иван Ермолаевич и сам припоминает и телку, и Агафью, и еще что-нибудь.

Наконец, и работник тоже присовокупляет какую-нибудь подробность, так что в конце концов канун крещения, бывший полгода тому назад, восстанавливается в памяти Ивана Ермолаевича, его жены и работника во всей подробности. Весь день накануне крещения припомнился, во всех мельчайших подробностях, припомнилась не только погода, но весь обиход дня во всей полноте.

– Ну, стало быть, – заключает это исследование Иван Ермолаевич: – копны-то разваливать (для сушки) погодить надо... Пожалуй, как бы к вечеру-то не собрались тучки, уж видно надобно повременить.

И таким образом копны не разваливались, и делалось это на основании самых точных исследований и наблюдений. Однако, несмотря на эту точность, не всегда наблюдения Ивана Ермолаевича были удачны. Иной раз, и это очень часто, ожидал он дождя, а дождя нет. Иной

¹ Сябринцы – см. примечания к циклу «Власть земли».

раз выйдет напротив, то есть хлынет проливень и сгноит не одну сотню пудов сена, тогда как по всем приметам Ивана Ермолаевича «надо бы быть вёдру». Понятно, что появление такой выдумки, как барометр, должно было заинтересовать Ивана Ермолаевича, как вещь нужная ему, в его хозяйстве, в его делах, и в эту пору вместе с барометром и я оказался ему нужен. Обоим нам он выказывал искреннее внимание, особенно когда в первый же день барометр как нельзя правильнее предсказал погоду. Едва Иван Ермолаевич получил некоторое основание верить привезенной мной выдумке, как посещения его сделались особенно часты. Он стал являться по нескольку раз в день с такими вопросами:

– Ну-ко, глянь-ко на календарь-то... Успеем мы до дождя копны перевозить али нет?..

Или:

– Посмотри-ко в календарь-от, разваливать, что ль, копны-то?

И, применившись к его желаниям, я обыкновенно давал такие ответы:

– «Разваливай!» или: «вози!»

И долгое время календарь служил нам исправно. Дошло дело даже до такой своеобразности в этих справках с барометром, что для постороннего человека было бы решительно невыносимым понять, каким образом барометр может быть полезным в таких требованиях, для которых он совершенно, повидимому, не предназначен. «Не знаю, – скажет иной раз Иван Ермолаевич: – молотить али лес пилить... погляди-кось в календарь-то, как там?» Я погляжу и отвечаю: «Молотить лучше...» – «Ну, ин молотить...»

Но вдруг все рушилось. Дело в том, что слово *переменно* занимает в полукружии, по которому двигается стрелка, почти целую треть; остальные две трети каждая разделена на три разряда, указывающие погоду, но слово *переменно* одно занимает столько же места, сколько три малых разряда, и, по петербургской погоде, стрелка подолгу шмыгает вдоль этого длинного слова *переменно*; то наклонится к началу, как будто к дождю, то поползет к концу, к сухой ясной погоде, а за пределы не выходит. Случилось так, что стрелка застряла в этом длинном слове дней на десять. Несколько раз я, на собственный свой риск, решался давать нужные Ивану Ермолаевичу ответы. Говорил попрежнему: «вози!», или: «поезжай!», или: «молоти!», но удачи в этих ответах не было, выходил обман... Так случилось несколько раз кряду, и Иван Ермолаевич стал посещать меня реже. К моему огорчению, я опять все чаще и чаще стал слышать в отворенное окно, как Иван Ермолаевич, толкуя с работником и женой о погоде, вновь возвращается к своей системе... «А что, Михайло, – с горестью слышу я: – не помнишь ты, как мы пред святой за солониной ездили?... еще Егор Петров говорил насчет костяной мази?...» и т. д. Заглянул было как-то Иван Ермолаевич ко мне и спросил: «Ну, что в календаре, как?» Но календарь сбился с толку – стрелка застряла в длинном слове и не давала ответов. И я не решился давать их.

– Ну, пёс с ним! – сказал Иван Ермолаевич и почти совсем перестал посещать меня... Надобности ему, очевидно, во мне уж не было.

И, увы! этот случай с календарем был едва ли, в сущности, не единственным случаем, когда я «в делах Ивана Ермолаевича» понадобился «в самом деле», «в сурьез». Был еще и другой случай, но в нем уж не было той серьезности запроса, какая руководила Иваном Ермолаевичем в деле с календарем, хотя и этот не совсем серьезный случай весьма замечателен, и замечателен тем, что это был единственный в течение года случай, когда Иван Ермолаевич заговорил о газете... Никогда я не слыхал от него никаких вопросов, ответы на которые могла бы дать газета. В газетах он пуще всего «жалел» бумагу, другого интереса она для него не представляла... Понятно поэтому, как я удивился, когда однажды на сенокосе Иван Ермолаевич подошел ко мне сам и как-то загадочно спросил:

– Чего нет ли в газетах хорошенького?

Я, признаться, не сразу ответил ему, что ничего, мол, нового нет, а несколько мгновений пристально поглядел на него, желая знать, «что это означает?» Да и Ивану Ермолаевичу был,

как видно, вопрос этот не совсем в привычку; задавая его, он стоял ко мне как-то боком и глядел в сторону, да и задал-то каким-то чрезвычайно небрежным тоном.

– Сказывают, – продолжал он с тою же небрежностью и не переставая глядеть куда-то вдаль, – будто бы где-то свалилась с неба кобыла не кобыла... Врут, поди? Чего не наплетут иной раз... Правда или нет? Чай, неправда?

– Какая кобыла?

– Да врут тут у нас, будто версты на три длиннику протянулась, из пушек в нее палят, а изгнать не могут... Так, я думаю, болтают зря?..

Тут я вспомнил, что в газетах действительно было известие о том, что где-то распространился слух о чудовище, свалившемся с неба, и объявил Ивану Ермолаевичу, что, конечно, все это чепуха.

– То-то, я думаю... болтают глупые, а другие дураки слушают.

Иван Ермолаевич плюнул и ушел, но, к величайшему моему удивлению, пропустив целую неделю, опять завел речь об этой кобыле. Опять, как и прежде, при случайной встрече и так же стоя боком и глядя вдаль, прежним презрительным тоном и как-то презрительно улыбаясь, он неожиданно проговорил:

– Сказывают, вся спина у кобылы-то исписана... Что, ничего нет в газетах?

– Какая спина?

– Да вот что ввали-то про кобылу-то? Болтают-то? Сказывают – все на спине-то прописано... какие бедствия, и как что будет, и насчет земли, будто будет раздача... Не пишут?

– Нет, Иван Ермолаевич, не слышал и не читал...

– Да болтают, так... а то бы уж, чай, давно пропечатали, какая там есть надпись... Будто бы все, «что будет», сказано?..

– Нет, не знаю, не слышал...

– То-то, пустое болтают... А то бы, чай, давно бы пропечатали, что у нее там сказано... Дюже, болтают, много надписано «на спине-то»...

И хотя все это Иван Ермолаевич говорил презрительно и не «в сурьез», но я не мог не видеть, что его действительно занимает и кобыла и надпись. Но газета не сослужила службы; мы с ней негодились Ивану Ермолаевичу, и вот с тех пор хотя и выдаемся ежедневно и спрашиваем друг друга: «как дела?», «все ли благополучно?», хотя и даем вежливые ответы: «все, слава богу, помаленьку» и т. д., но в сущности дела друг друга нас не интересуют: он не понимает моих дел, а я не понимаю его, и между нами вот уж ровно год ничего кроме вежливости нет.

II. Общий взгляд на крестьянскую жизнь

Но что всего поразительнее в этом взаимном нашем непонимании друг друга, так это то, что Иван Ермолаевич выказывает непонимание в особенно сильной степени именно относительно крестьянских дел, вопросов крестьянской жизни, о которых я нахожу нужным беседовать с ним очень часто. Замечательно, что всякий раз, когда речь коснется так называемых крестьянских интересов, то есть интересов, касающихся непосредственно Ивана Ермолаевича, тут-то он особенно как-то деревенеет, тут он именно «не ведет ухом», ничего не слышит, очевидно, не хочет слышать и зевает ужаснейшим образом. Это полнейшее равнодушие к *«собственным своим»* интересам поражало меня в высшей степени. На мой взгляд, жизнь современного крестьянина на каждом шагу, кажется, вопиет о том, что только дружество, сотоварищество, взаимное сознание пользы общинного, коллективного труда на общую пользу – суть единственная надежда крестьянского мира на более или менее лучшее будущее, единственная возможность «сократить» те невероятные размеры труда, поглощающего *всю* крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежит на крестьянине таким тяжелым и, как мне казалось (и кажется), бесплодным бременем. Посмотрите в самом деле, что это за жизнь, и посудите, из-за чего человек бьется. Крестьянская пословица говорит: «лето работает на зиму, а зима на лето». И точно: летом с утра до ночи без передышки бьются с косьюбой, с жнивом, а зимой скотина съест сено, а люди хлеб, весну и осень идут хлопоты приготовить пашню для людей и животных, летом соберут, что даст пашня, а зимой съедят. Труд постоянный, и никакого результата, кроме навоза, да и того не остается, ибо и он идет в землю, земля ест навоз, люди и скот едят, что дает земля. Сам бог, отец небесный, поминается только как участник в этой бесплодной по результатам деятельности лаборатории. Бог дает дождь, ведро, нужные для сена, овса, которые нужны для лошадей, овец, коров и людей, а в результате – навоз, нужный для земли, и т. д. до бесконечности. Промучившись (на мой взгляд) таким образом лет семьдесят, обыватель и сам отправляется в землю.

Присматриваясь к непрерывному труду, вплетенному в этот вековечный химический процесс жизни, я (человек, деревне совершенно посторонний) ничем иным не могу объяснить себе этой непрерывной неустанности труда, как только тем, что все живые существа, участвующие в нем, «должны быть сыты» для поддержания собственного своего существования. Я очень хорошо знаю и понимаю, что кроме непрерывного труда химический круговорот наблюдаемой мною жизни также переплетен во всех направлениях страданиями сердца, радостями и горестями; тут слышен плач, там стоны, там скрежет зубовой; я очень хорошо знаю, что кроме химического элемента во всем этом процессе постоянно слышится и чувствуется «человек», но именно потому-то, что я это понимаю, меня поражает и бесплодность труда, бесплодность *по отношению к человеку*, к его слезам, радостям и к зубовому его скрежету. Именно в человеческом-то смысле или, говоря точнее, «в расчете-то на человека» бесплодность неустанного труда оказывается поразительною. Как бы я пристально ни вглядывался в него, как бы ни ужасался его размеров – я решительно не вижу, чтобы в глубине этого труда и в его конечном результате лежали мысль и забота о человеке в размерах, достойных этого неустанного труда.

Повторяю опять: забота эта есть, но она не смеет равняться с заботами, например, о скотине. Вот, например, у Ивана Ермолаевича баран, по имени «Сенька», зашиб рогами мальчика; мальчик некоторое время лежал без чувства, потом, очнувшись, некоторое время рыдал, как помешанный, от испуга. И теперь едва ли испуг этот не останется в нем на всю жизнь; Иван Ермолаевич и его жена оба «мучились» над мальчишкой: прикладывали что-то, например навоз теплый, поили травами, вообще лечили и болели душой; но лечили они его средствами, какие найдутся «вокруг дому», как и вообще лечатся крестьяне; а вот захромала у Ивана Ермолаевича кобыла, полечил он ее также собственными средствами, также намазывал на тряпку

(тряпка уж сама по себе в деревне как бы медикамент) какую-то дрянь, а кончил тем, что поехал и привез коновала и три рубля серебром ему не пожалел. Очень хорошо знаю, чем могут мне объяснить эту разницу отношений Ивана Ермолаевича к лошади и человеку, но никак не могу не обратить внимания на то, что вот для лошади в народе есть уже профессия коновала, и профессия не вполне шарлатанская; к услугам коновала прибегают и культурные владельцы лошадей. У коновала есть «инструменты», выдуманные народом, есть «верные», точные средства, а для человека ничего в этом роде не выдумано кроме знахарей, которые далеко ниже по познаниям коновала и, как всем известно, преисполнены шарлатанства, выезжают на невежестве, тогда как коновалу на незнании своего дела никоим образом выехать невозможно: всякий крестьянин и сам в этих (лошадиных) делах понимает очень много. А вот когда мальчишка орет, то тут могут только плакать и прикладывать тряпку с навозом или с чем-нибудь другим, что тут «около дому» валяется, как никуда негодная дрянь. Единственно, чем я могу объяснить такое внимание к лошади, это тем, что она нужна в каторжном труде ежедневном и неустанным, так как без этого труда ни Ивану Ермолаевичу, ни его мальчишке нечего было бы есть. Да и сам Иван Ермолаевич, подводя итог своим ежегодным трудам, говорит, что в конце концов «только что сыты, больше ничего!» Я это хорошо вижу и глубоко сожалею Ивана Ермолаевича и всех ему подобных, но в то же время меня поражает следующее обстоятельство.

На том самом месте, где Иван Ермолаевич «бьется» над работой из-за того только, чтоб быть сытым, точно так же бились, ни много ни мало как тысячу лет, его предки и, можете себе представить, решительно ничего не выдумали и не сделали для того, чтобы хоть капельку облегчить ему возможность быть «сытым». Предки, тысячу лет жившие на этом самом месте (и в настоящее время давно распаханное «под овес» и в виде овса съеденные скотиной), даже мысли о том, что каторжный труд из-за необходимости быть сытыми должен быть облегчаем, не оставили своим потомкам; в этом смысле о предках нет ни малейших воспоминаний. У Соловьева, в «Истории»², еще можно кое-что узнать насчет здешнего прошлого; но здесь, на самом месте, «никому» и «ничего неизвестно». Хуже той обстановки, в которой находится труд крестьянина, представить себе нет возможности, и надобно думать, что тысячу лет тому назад были те же лапти, та же соха, та же тяга, что и теперь. Не осталось от прародителей ни путей сообщения, ни мостов, ни малейших улучшений, облегчающих труд. Мост, который вы видите, построен потомками и еле держится. Все орудия труда первобытны, тяжелы, неудобны и т. д. Прародители оставили Ивану Ермолаевичу непроездное болото, чрез которое можно перебираться только зимой, и, как мне кажется, Иван Ермолаевич оставит своему мальчишке болото в том же самом виде. И его мальчонка будет вязнуть, «биться с лошады», так же как бьется Иван Ермолаевич. Но, оставив прародителей в стороне, я, в качестве человека постороннего деревенской жизни и деревенскому труду, решительно недоумеваю и теряюсь в догадках, объясняя себе это видимое мне и совершенно непостижимое для меня равнодушие – положим, хоть в Иване Ермолаевиче – относительно «облегчения» этой необходимости быть «сытым». Я решительно не понимаю, почему Иван Ермолаевич, который непременно поднимает обрывок веревки или гвоздя, если они попадутся ему на дороге, теряет, в лице многих таких же, как и он, истинных «крестьян», сотни, тысячи рублей на продуктах собственного своего каторжного труда, сотни, даже тысячи, которые несомненно облегчили бы, улучшили его благосостояние. и дали бы возможность заботиться о мальчишке более, чем о жеребенке. В отношении этого равнодушия к собственной выгоде на моих глазах происходят удивительные нелепости. Например, сено в здешних местах – продукт, могущий доставить почти такую же денежную поддержку, как лен в Пскове или пшеница в Самаре, с тою, однако, разницею, что сено растет «даром». Косят его здесь все крестьяне, в том числе и Иван Ермолаевич, и потому что

² Соловьев, С. М. (1820–1879) – историк, один из крупнейших представителей русской буржуазной исторической науки, автор «Истории России с древнейших времен» (30 тт., 1851–1879).

вывезти его летом нельзя, – так как местность перерезана болотом, – продает его «по нужде» на месте за самую ничтожную цену кулакам и барышникам, которые, дождавшись зимы, то есть времени, когда болото замерзнет, вывозят сено в Петербург и продают его втридорога. На глазах всех здешних крестьян постоянно, из года в год, происходят такие, например, вещи: местный кулачок, не имеющий покуда ничего кроме жадности, занимает на свой риск в соседнем ссудном товариществе полтора ста рублей и начинает в течение мая, июня, июля месяцев, самых труднейших в крестьянской жизни, покупать сено по пяти или много много по десяти копеек за пуд; при первом снеге он вывозит его на большую дорогу, где немедленно ему дают тридцать и более копеек за пуд. На глазах всего честного мира человек, не шевельнув пальцем, наживает поистине кучу денег, которые при всех и кладет себе в карман. Каким образом Иван Ермолаевич дорожит гвоздем, говоря: «он денег стоит», и не дорожит сотнями рублей, которые он бросает кулаку на разживу? Ежегодно деревня накашивает до сорока тысяч пудов сена, и ежегодно кулачишко кладет в карман более пяти тысяч рублей серебром крестьянских денег *у всех на глазах*, не шевеля пальцем. Дорожит ли человек своим трудом, поступая таким образом? Если он дорожит, то неужели вся деревня (двадцать шесть дворов) не может, во имя облегчения общего труда, сделать того же, что и кулачишко? Они могут занять «на нужду» в двадцать шесть раз больше, чем кулачишко, и, следовательно, «могут» быть не в кабале, «могут» даже «сделать» цену своему товару, могут ждать цен и т. д. И ничего этого нет. Тысячу лет не могут завалить болота на протяжении четверти версты, что сразу бы необыкновенно увеличило доходность здешних мест, а между тем все Иваны Ермолаевичи отлично знают, что эту работу «на веки веков» можно сделать в два воскресенья, если каждый из двадцати шести дворов выставит человека с топором и лошадь.

И в то же время самые, на мой взгляд, пустяшные, ничего не стоящие мирские дела, вроде хоть мирской загороди³ или дележа лядины⁴, поглощают массу общественного внимания: тут меряют по двадцати раз то, что давно вымерено, меряют и веревками, и саженьями, и кольями, и лаптями, да чтобы *носком непременно в пятку попадало*; тут и значки, и жеребья, и значки на жеребьях – словом, тут все разработано, даже свыше необходимости, тут дело доведено даже до артистического совершенства, превращено почти «в церемонию». Я очень хорошо понимаю, что основанием к такой тщательности в самых пустяковых пустяках служит желание сделать дело «без обиды»; но почему необходимо быть драным за невзнос податей, почему необходимо драть или смотреть, как дерут, в то время, когда всем видно, что драный человек не платит потому, что откармливает кулачишку, – этого я не понимаю.

Не менее непонятными кажутся мне и те случаи, когда местный крестьянин, благодаря какому-нибудь неожиданному обстоятельству, как бы образумливался и начинал понимать «собственную свою пользу» в том виде, в каком понимать ее следует, и, главное, принимал при этом во внимание то обстоятельство, что время теперь не то, что было недавно, что теперь деревня должна подумать и о коллективной обороне. Один такой случай был у местных крестьян и заключается в следующем. Один неудачник землевладелец, задумавший вести «большое», по «иностранным образцам», хозяйство, как водится, разорился и ушел отсюда совсем. После него в деревне оказался сенной пресс. Машина соединила разрозненный крестьянский мир. Лучше всего, что за отсутствием барина она была «ничья». Додумались прессовать сено всем миром, сообща нанимать вагон и продавать в Петербурге. Пошло дело отлично, но на следующий год в Петербурге *не стали принимать здешнего сена в прессованном виде*. «Помилуйте! говорят, обрадовались, что выгодно, – и ну пихать в нутро всякую дрянь: то полено, то камень, то навозу набьют туда, благо не видать с боков...» Теперь здешнее сено покупалось в

³ Мирская загородь – городьба, передел общинной земли.

⁴ Лядина – болото или покинутая земля, заросшие лесом. Описание новгородских лядин Успенский дал в специальном очерке «Лядины» (цикл «Непорванные связи», 1880).

Петербурге не иначе, как с воев. Такое своеобразное понимание выгоды, конечно, имеет множество оснований, но вот что нехорошо: года два тому назад приехали из Лондона в ближний к нашим местам губернский город два англичанина. По-русски они ни слова не говорили и не говорят; приехали они честь честью, наняли дом самый лучший, завели какие-то экипажи, необыкновенные, на высоких колесах и т. д. В этих экипажах они разъезжают по городу с своими семействами перед обедом и после обеда и живут в свое удовольствие. Как же могло случиться, что немедленно же по их приезде вся сенная операция на сотни верст очутилась у них в руках? А между тем это факт, и сенное дело теперь находится в следующем виде: кулачишко, заняв деньги в ссудном товариществе, закупает у крестьян в «нужное» время, летом, за бесценок и поставяет «англичанам», а англичане поставяют в Петербург в разные казенные учреждения. Пресс действует попрежнему, но работает уж не на мир, а на англичанина. «Кому прессуете?» – «Чарльзу!» – отвечают мужики. Кулачишко, так тот просто благоговеет перед «англичанами», и именно потому, что они, кажется, н пальцем не шевельнут, всё только в экипажах на красных колесах ездят, а все дело забрали в руки. «Уж гос-с-спода! – говорит кулачишко. – Одно слово! Хоть бы взять Чарльз Иваныча или Диксон Петровича – одно слово, как ни оберни, – господа на отделку!» Таким образом в то время, как Диксон Петрович с Чарльз Ивановичем разъезжают с сигарами в зубах в своих отличных экипажах, «отдыхая» после завтрака и обеда, здешний крестьянин продолжает священнодействовать перед такой громадной общественной надобностью, как загородь, дает целые драматические представления при найме пастуха или при покупке быка – словом, всячески старается, чтоб «не обидеть» ни себя, ни ближнего даже на порошинку, и решительно не находит возможности замостить четверть версты болота, в котором и лежит корень очень многих из его ежедневных и ежечасных обид.

Примеров такого безграничного равнодушия к «собственной своей выгоде», как ее надо понимать при новых условиях крестьянской жизни, можно было бы привести очень много. Положительно на каждом шагу я, человек совершенно посторонний деревне, мог бы указать, что вот тут-то крестьяне теряют то-то, а вот здесь они явно расстроивают свое благосостояние. И, по неопытности моей, объясняя это видимое мне каторжное существование только тем, чтобы кое-как пробиться, «быть сытым», я не мог не волноваться, а по временам не выходить положительно «из себя», видя глубочайшее невнимание таких подлинных радетелей «крестьянства», как Иван Ермолаевич, ко всему, что облегчает труд, что передает выгоды этого труда в те руки, которым эти выгоды принадлежат по справедливости, и т. д. Много и долго распространялся я иногда на тему «о непонимании собственной пользы», о грабительстве, которому служат Иваны Ермолаевичи своими трудами и руками, и т. д. И все как к стене горох! О всяких коллективных оборонах против всевозможных современных зол, идущих на деревню, не могло быть и речи.

– Захотели вы с нашим народом! Нешто наш народ присогласишь? Нешто он что понимает?

Вот какие были ответы Ивана Ермолаевича на мои разглагольствия о «ихней пользе». Такой неустанный труженик не знал, куда, кому и зачем он платит, не имея никакого понятия о земстве, о выборе в гласные и т. д. Твердо был уверен, что все это до него ни капли не касается. О ссудосберегательном товариществе ровно ничего не понял из всех моих рассуждений и только заметил: «Брать-то хорошо, а вот отдавать-то как?.. Свяжешься... Бог с ним совсем». А когда я указывал на кулака, который берет и отдает и выгоду имеет, то Иван Ермолаевич говорил: «Ну, пес с ним... там уж это ихний расчет... А то свяжешься – не развязаться»...

Однажды он меня поразил самым неожиданным образом в разговоре об общественных крестьянских должностях⁵:

⁵ *Общественные крестьянские должности.* – По положению 19 февраля 1861 года в деревне были образованы сельские общества. Крестьяне должны были избирать сельских старост, волостного старшину и его помощника, сборщиков податей,

– Все они (выборные) – народ ненадежный... Покуда живет крестьянством – ничего, а как выбрали в должность – чистая делается собака. Как присягу принял, точно в зверя оборачивается... По мне, так я, кажется, за миллион на это не согласился бы.

– На что?

– Например, принять присягу волостную. Я однова слушал, так обмер начисто. Как зачал поп вычитывать – «от отца, от матери отрекись, от братьев, сестер отрекись, от роду и племени откажись» – волоса у меня на макушке даже поднялись дыбом. Перед богом! Уж который человек таким манером себя проклял, так он от этого самого не иначе делается, как злодеем.

Такой взгляд на присягу несказанно меня удивил. Удивил он меня немало и в другой раз, когда я случайно застал его, как он учил своего сынишку молитвам. Иван Ермолаевич в бога верил крепко, непоколебимо крепко, близость бога ощущал почти до осязания, а молитвы читал по-своему: «Верую во единого бога отца, – учил он сынишку, – и в небо и землю. Видимо невидимо, слышимо неслышимо. Припонтистился еси, распилатился еси...»⁶ А дальше уж бог знает что было. Кончалась «Верую» так: «от лукавого. Аминь».

Все это, однакож, пустяки сравнительно вообще с невниманием к определению своего положения не только на белом свете, а в кругу даже двадцати шести дворов, среди которых Иван Ермолаевич жил, живет и жить будет. Не говоря о равнодушии к общественным порядкам, не касающимся непосредственно хозяйства, я замечал в Иване Ермолаевиче невнимание и к людям. Например, он отлично знал, сколько у кого скота, хлеба, что «дадено» за лошадь в таком-то дворе; словом, сколько у кого физических ресурсов к существованию. Но случись в этом дворе какое-нибудь из ряду выходящее событие, объяснить которое можно только зная «людей», участвовавших в нем, – не объяснит. Случилось в деревне два самоубийства, и никто ничего не мог объяснить. «Должно, деньги пропил», – говорили про солдата, который еще вчера работал в огороде, полол капусту, а сегодня найден под переметом. «Ведь это, братец, как сказать – отчего? Стало быть, уж ему так положено. Вот прошлый год тож вдова одна так же вот самовольно покончилась. А после нее осталось денег тридцать рублей, две коровы да картофелю мешка четыре – вот тут и думай! Скучал, скучал, глядишь – и задавился!»

Не раз, глядя на эту почти добровольную отдачу себя на съедение всем, кто пожелает, всем, у кого загребиста лапа, я в глубоком унынии восклицал, конечно в мыслях моих: «Боже мой! какие же нужны еще казни египетские, чтобы сокрушить в Иване Ермолаевиче это непоколебимое невнимание к «собственной пользе»!» Ведь это невнимание делает то, что через десять лет (много-много) Ивану Ермолаевичу и ему подобным нельзя будет жить на свете: они воспроизведут к тому времени два новые сословия, которые будут теснить и напирать на «крестьянство» с двух сторон: сверху будет заседать представитель третьего сословия, а снизу тот же брат мужик, но уже представитель четвертого сословия, которое неминуемо должно быть, если будет третье. Этот представитель четвертого деревенского сословия непременно будет *зал* (о происхождении *злого мужика* будет сказано в следующем отрывке) и неумолим в мщении, а мстить он будет за то, что очутился в дураках, то есть поймет наконец (и очень скоро), что он платится за свою дурость, что он был и есть дурак, дурак темный, отчего и разозлился *сам на себя*. И горько поплатятся за это все те, кто, по злому, хитрому умыслу, по невниманию или равнодушию, поставили его в это «дурацкое» положение. Другим словом нельзя определить этого положения, ибо если в русской деревне завелся хронический нищий, то только существованием какого-то *неумного места* в организации общественной, ничем другим это явление объяснить нельзя. Все есть для того, чтобы такого явления не было, – а оно уже есть; никакими

заседателей волостных правлений и судей волостных судов. Избрание на эти должности происходило на волостных сходах, под надзором полицейских.

⁶ *Припонтистился еси, распилатился еси...* – «Молитва» Ивана Ермолаевича показывает, насколько его крестьянское мировоззрение (где главное место занимают «земля» и «небо») далеко от официального церковного вероучения. Слова «припонтистился еси» и т. д. – искажение непонятных Ивану Ермолаевичу слов церковной молитвы «при Понтийском Пилате»).

резонами, мало-мальски подходящими к тому, что определяется словами «необходимость», «неизбежность», нельзя этого явления объяснить. Представитель русского четвертого сословия есть продукт бессердечной общественной невнимательности – ничего более. Впрочем, об этом после; теперь же возвратимся к Ивану Ермолаевичу.

Безмерное равнодушие Ивана Ермолаевича к напиранию на него бедствиям, в виде третьего и четвертого сословий, в виде, наконец, пришельца-переселенца из остзейских провинций⁷, не раз становило меня втупик, и я недоумевал: что именно дает Ивану Ермолаевичу силу переносить свое труженическое существование? что держит его на свете и из каких лаковых приправ сварена та чечевичная похлебка, за которую он явно продает свое первородство? Неужели в самом деле Иван Ермолаевич и его тысячелетние предки «бьются» только из-за податей? Или в самом деле из-за куска хлеба? Но если бы это было так, Иван Ермолаевич не перенес бы удовольствия платить подати не только тысячу лет, но и тысячу минут. Когда ему что *не нравится*, надоедает, *он нетерпелив*; он даже внешнего приличия не соблюдает, когда ему что-нибудь не по нутру; ведь вот зеваает же он самым потрясающим образом, когда я разговариваю с ним о вещах, которые он слушать не желает. Всякий раз, когда я заведу речь о коллективной обороне деревни, в том или другом виде, Иван Ермолаевич немедленно найдет предлог улизнуть от меня: то ему захочется спать, то болит нога, то надо поглядеть, отчего лают собаки? Словом, всегда найдет предлог увильнуть, и увильнет. Что же за приятность в податях? Что за удовольствие биться всю жизнь из-за них или только из-за хлеба? Неужели же такое существование можно назвать жизнью? А между тем Иван Ермолаевич, на мой взгляд, именно бьется, и именно из-за хлеба, ибо и сам он совершенно справедливо уверяет, что в конце концов он только что «сыт».

⁷ ...пришельца-переселенца из остзейских провинций... – так назывались в царской России прибалтийские губернии. О переселенцах из Прибалтики – курляндцах и немцах – и их влиянии на хозяйственное расстройство деревни см. в последующих очерках настоящего цикла.

III. Поэзия земледельческого труда

Объясняя себе эту загадку существования, я приходил к самым мрачным и безобразным выводам; то мне казалось, что Ивану Ермолаевичу предопределено пережить еще одно тягостнейшее иго, иго немецкого пришельца, то мне казалось, что Ивану Ермолаевичу «предназначено» терпеть, «влачиться по браздам»⁸ и т. д. Словом, все выходило ужасно нескладно, произвольно и неосновательно в высшей степени. Только что я объясню себе тайну каторжного существования «терпением во Христе», как натолкнусь на рыдания невестки Ивана Ермолаевича, которая говорит, рыдая, что ее «съели» в семье Ивана Ермолаевича и ждут не дождутся, когда она протянет ноги, чтобы взять другую бабу, здоровую; и злы-то на нее («поедом едят», «сживают со свету») за то, что она больна и в хозяйстве только помеха. Только что объясню себе существование Ивана Ермолаевича предопределением насчет нового двухсотлетнего немецкого ига, как встречу с такими проявлениями русского ребросокрушительного патриотизма, что мне начинает казаться, будто насчет ига «бабушка сказала еще надвое», то есть что, пожалуй, ига-то этого и не будет.

Словом, тайна бесплодности и непрестанности труда, из которых сотканы дни, часы и годы существования Ивана Ермолаевича и многих ему подобных, так и оставалась досадною, неразгаданною тайной.

И вдруг случилось обстоятельство, которое пролило некоторый свет на эту тайну – и представило жизнь и интересы жизни, волновавшие Ивана Ермолаевича и державшие его на белом свете, в совершенно неожиданном для меня виде и в такого рода ежедневных явлениях, которым я до сих пор не придавал ни малейшего значения. Обстоятельство, столь чудотворно просветившее меня, было в высшей степени ничтожное, до того ничтожное, что мне даже совестно утруждать им внимание благосклонного читателя. Делать, однако, нечего, и рассказать об этом ничтожном обстоятельстве приходится более или менее подробно. Вот как было дело.

Иван Ермолаевич поит телят, которых продает приезжающим из Петербурга телятникам. Занятие выгодное, так как каждый такой теленок продается рублей по тридцати и более. Поит он молоком, и таких телят у него было восемь штук. Как-то он объявил мне, что купил у какой-то старухи девятого теленка, и мы вместе порадовались, что теленок хорош и куплен дешево. На следующий день я встретил Ивана Ермолаевича на дворе; он смотрел, как жена его поит телят, был как-то уныл и что-то рассказывал про новую телушку, беспрестанно ругая старуху, у которой она куплена. Сотни раз слышал я рассказы и разговоры Ивана Ермолаевича про его хозяйственные заботы, про телят, про овец и т. д. Но, как уж сказано было в начале этого отрывка, не имел терпения и интереса вслушиваться в эти рассказы. Не вслушивался я еще и потому, что обыкновенно думал о другом, о чем-нибудь своем, и если интересовался «крестьянством», то вовсе не со стороны этих происшествий с телятами, утятами и т. д. Но на этот раз, когда я уж совсем был готов пропустить мимо ушей рассказываемое происшествие с теленком, меня поразило почти драматическое выражение его голоса, которым он произнес: «Вот он! Поглядите на него, на проклятущего, и смотреть-то на него, на проклятого, тошно!..» И вновь принялся ругать старуху.

Меня потому поразила драматический тон этих слов Ивана Ермолаевича, потому он меня заставил вникнуть в огорчение Ивана Ермолаевича, в историю с теленком – что мгновенно, неожиданно воскресил в моей памяти другое, нисколько на историю с теленком не похожее обстоятельство, которое, однако, вызвало почти точь-в-точь такое восклицание и *точь-в-точь* таким же тоном у другого человека, нисколько на Ивана Ермолаевича не похожего.

⁸ «влачиться по браздам» – слова, заимствованные из стихотворения А. С. Пушкина «Деревня» (1819).

Летом 1876 года один русский художник повел меня в луврский музей смотреть Венеру Милосскую. Всю дорогу он приготавливал меня к пониманию этого дивного произведения, бранил Фета за его стихотворение, посвященное этой самой Венере⁹, говоря, что в нем нет ни одной черты, хоть отдаленно напоминающей то, что есть в *этой* Венере, и т. д. Приготавливая меня к предстоящему зрелищу, как к святыне, он всячески старался настроить меня так, чтобы я мог воспринять хоть каплю той красоты, которую развивает это удивительное произведение, вел меня по коридорчику, ведущему к статуе, рисующейся в отдалении, почти с такою же осторожностью, точно мы шли к умирающему больному, ступая осторожно кончиками пальцев, и... вдруг остановился, как-то беспомощно опустил руки и, обернувшись ко мне, *точь-в-точь таким же* драматическим тоном, как и Иван Ермолаевич, проговорил: «Ну скажите пожалуйста, на что это похоже? Посмотрите-ко, что они наделали...»

Кто «они», я не знал и решительно недоумевал, что такое *они* натворили. Оказалось, однако, что администрация Лувра или вообще кто-то имеющий власть в нем распоряжаться, в видах того, что мрамор, из которого высечена статуя, ветх, крошится, распорядился немного, чуть-чуть, с величайшею осторожностью, поправить кой-какие наиболее ветхие точки: таким образом оказалось, что на левом колене и на носу у статуи не то намазано, не то насыпано что-то белое, отчего нос у Венеры Милосской походил на утиный... Этот-то утиный нос, оказавшийся там, где должно было быть совсем другое, до того потряс художника, так его ошеломил, что он, за минуту назад до крайности взволнованный, возбужденный, как бы мгновенно устал, обессилел и ушел вон совершенно расстроенный.

Решительно точь-в-точь то же душевное оскорбление, та же нравственная обида слышалась в голосе Ивана Ермолаевича, когда он указывал мне на теленка и говорил:

– Вот поглядите на него, на проклятущего!

Совпадение той и другой обиды было до такой степени поразительно, что я невольно перенес на теленка, и на Ивана Ермолаевича, и на всю эту историю с теленком понятное мне до некоторой степени огорчение художника. И что же? Оказалось, что Иван Ермолаевич был огорчен почти так же, как и художник, то есть именно *оскорблен теленком в глубине своих художественных требований*. И в самом деле, теленок не пил молока; старуха, продавая его, не сказала Ивану Ермолаевичу, что теленок приучен пить овсянку с отрубями и с яйцом и что молока он не пьет. Зрелище, на которое Ивану Ермолаевичу было «тошно смотреть», было такое: все восемь телят столпились у крыльца и из корыт и из шаек «дружно» тянули молоко, весело помахивая своими хвостами, похожими на палки; один только новый, купленный теленок стоял в стороне, сердито взывая о пище, выказывая недовольство. Недовольный, мрачный, явившийся в чужой монастырь с своими уставами, он явно нарушал художественную сторону вечерних порядков хозяйства. И лошади, и коровы, и овцы, все это было на своих местах, словом, все в хозяйстве было как всегда, как привык видеть хозяйский глаз, и вот тут-то, в виде нового теленка, неожиданно появилось нечто чуждое, несогласное, мрачно и грубо недовольное, как бы даже критикующее. Мрачное состояние духа, в котором находился новый теленок, перешло и на жену Ивана Ермолаевича и на него...

– И шут тебя догадал! – сердилась на него жена.

– Кто же его знал, чорта экова, – почти закричал Иван Ермолаевич и принялся ругать старуху.

Стали тащить теленка силой, принялись пихать его морду насильно в корыто... теленок сопротивлялся... Словом, вышла пренеприятная сцена...

⁹ ...бранил Фета за его стихотворение, посвященное... Венере... – Имеется в виду стихотворение «Венера Милосская» (1857). Впечатления Успенского при посещении Лувра, где находится статуя Венеры Милосской, отражены в очерке «Выпрямила» (в цикле «Кой-про-что»). Там же Успенский развил подробнее свою отрицательную оценку стихотворения Фета, посвященного этой статуе.

Этот эпизод с теленком неожиданно для меня воскресил в моей памяти множество такого же рода хозяйственных эпизодов, которые занимали Ивана Ермолаевича, о которых он говорил со мной, но которые я пропускал мимо ушей, как вещи не «стоящие» и ровно ничего не значащие сравнительно с вопросами о возникновении кулаков, о податях, об эксплуатации и т. д. Благодаря эпизоду с теленком все мне представилось теперь в ином свете. Припомнил я «историю» с уткой, которую Иван Ермолаевич называл «остроумной», историю, на которую я прежде не обратил никакого внимания. Бывало, выйдешь на крыльцо под вечер, когда Иван Ермолаевич уж поужинал, смотришь, Иван Ермолаевич сидит на крыльце, не спит. «Что вы сидите?» – «Да так... насчет утки...» Так как утка для меня ничего не представляет интересного, то я и оставляю Ивана Ермолаевича без расспросов; но на следующий день и еще на следующий опять вижу его в поздний вечерний час то на крыльце, то даже притаившимся за углом у амбаров и опять «все насчет утки». Не особенно внимателен был я и к тому, когда, дней через десять после этих ночных заседаний «насчет утки», Иван Ермолаевич весело сообщил мне мимоходом: «А ведь я открыл ейный секрет-то!» – «Чей секрет?» – «Да уткин-то! Вчера до двенадцатого часу просидел, а уж добился. Ведь какая остроумная шельма! Принужден был даже на балконе от нее притаиться – не идет, видит...» Говорил он это весело, радостно, и теперь, после мрачного эпизода с теленком, я понял, что именно заставляло сидеть Ивана Ермолаевича по ночам, прятаться за амбар и на балконе и почему утка получила название остроумной. Не в пример прочим уткам она тщательно скрывала место, куда кладет яйца. Она прибегала к крыльцу амбара, где рассыпали корм для птиц, после всех, когда ее собратья утки и куры наедятся, заснут, – и все для того, чтобы не видали, куда она кладет яйца, где несется. Замечательно, что она шла к амбару всегда молча и выбирала дорогу всегда окольную, в густой траве, где нельзя было приметить. У других уток ястреба растаскали почти всех цыплят, эта же остроумная утка всех своих детей сберегла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.